

**Сигизмунд Доминикович  
Кржижановский**

**Воспоминания о будущем**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Сигизмунд Доминикович Кржижановский**

Воспоминания о будущем / Сигизмунд Доминикович Кржижановский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 60 с.

**ISBN 978-5-4241-2550-8**

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

**ISBN 978-5-4241-2550-8**

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Сигизмунд Кржижановский  
Воспоминания о будущем



# I

Любимой сказкой четырехлетнего Макси была сказка про Тика и Така. Оседлав отцовское колено, ладонями в ворс пропахнувшего табаком пиджака, малыш командовал:

– Про Така.

Колено качалось в такт маятнику, тающему со стены, и отец начинал:

– Сказку эту рассказывают так: жили-были часы (в часах пружина), а у часов два сына – Тик и Так. Чтобы научить Тика с Таким ходить, часы, хоть и кряхтя, дали себя заводить. И черная стрелка – за особую плату – гуляла с Тик-Таким по циферблату. Но выросли Тик и Так: все им не то, все им не так. Ушли с цифр и с блата – назад не идут. А часы ищут стрелами, кряхтят и зовут: «Тик-Так, Так-Тик, Так!» Так рассказано или не так?

И маленький Макс, нырнув головой под полу пиджака, шурился сквозь суконные веки петлицы и неизменно отвечал:

– Не так.

Теплый отцовский жилет дергался от смеха, шурша об уши, сквозь прорезь петлицы видна была рука, вытряхивающая трубку:

– Ну а как же? Я слушаю вас, господин Макс Штерер.

В конце концов, Макс Штерер ответил: но лишь тридцать лет спустя.

Первая попытка вышагнуть из слов в дело относится к шестому году жизни Макса.

Дом, в котором жила семья Штереров, примыкал к горчичным плантам, уходящим зелеными квадратами к далекому изгибу Волги. Однажды – это было июльским вечером – мальчуган не явился к ужину. Слуга обошел вокруг дома, выкрикивая по имени запропадившегося. Прибор Макса за все время ужина оставался незанятым. Вечер перешел в ночь. Отец вместе со слугой отправились на розыски. Всю ночь в доме горел свет. Только к утру беглец был отыскан: у речной переправы, в десяти верстах от дома. У него был вид заправского путешественника: за спиной кошель, в руках палка, в кармане краюха хлеба и четыре пятака. На гневные окрики отца, требовавшего чистосердечного признания, беглец спокойно отвечал:

– Это не я, а Так и Тик бежали. А я ходил их искать.

Штерер-отец, дав и себе и сыну отъесться и отоспаться, решил круто изменить свою воспитательную методику. Призвав к себе маленького Макса, он заявил, что сказки дурь и небыль, что Так и Тик попросту стук одной железной планки о другую и что стук никуда бегать не может. Видя недоумение в голубых широко раскрытых глазах мальчугана, он открыл стеклянную дверцу стальных часов, снял стрелки, затем циферблат и, водя пальцем по зубчатым контурам механизма, объяснил: гири, оттого что они тяжелые, тянут зубья, зубья за зубцы, а зубцы за зубчики – и все это для того, чтобы мерить *время*.

Слово «время» понравилось Максу. И когда – два-три месяца спустя – его засадили за букварь, в, е, м, р, я были первыми знаками, из которых он попробовал построить, водя пером по косым линейкам, слово.

Узнав дорогу к шевелящимся колесикам, мальчик решил повторить опыт, проделанный отцом. Однажды, выждав, когда в доме никого не было, он приста-

вил к стене табурет, взобрался на него и открыл часовую дверцу. У самых глаз его мерно раскачивался желтый диск маятника; цепь, натянутая гирею, уходила вверх в темноту и шуршание зубцов. Затем с часами стало происходить странное: когда садились обедать, Штерер-старший, глянув на циферблат, увидел: две минуты третьего. «Поздновато», – пробурчал он и поспешно взялся за ложку. На новый взгляд, в промежутке между первым и вторым, часы ответили: две минуты пятого. «Что за цум тайфель? Неужели мы ели суп два часа?» Штерер-младший молчал, не подымая глаз; когда вставали из-за стола, стрелки достигли пяти минут восьмого, а пока слуга успел сбегать за часовым мастером, жившим поблизости, часы заявили о близости полночи, хотя за окном сияло солнце.

Мастер, явившись на зов, прежде всего снял стрелки и, протянув их маленькому Макс, попросил подержать. Пока он, обнажив механизм, вместе с хозяином осматривал винты и колесики, у напраказившего мальчугана было достаточно времени, чтобы сдернуть крохотный протез на ниточке с короткокурой часовой стрелы. Тщательно все осмотрев и выверив, мастер заявил, что часы в полной исправности и что незачем было его, человека занятого, напрасно беспокоить.

Выведенный из себя Штерер-старший закричал, что своим глазам он верит больше, чем чужим знаниям, и потребовал починить взбесившиеся часы. Мастер, обидевшись в свою очередь, заявил, что если кто и взбесился, то во всяком случае не часы, и что он не намерен тратить время и брать деньги за починку неиспорченного. И, поставив стрелы на место, хлопнул сначала часовой дверцей, затем дверью. И часы, точно довершая издевательство над своим хозяином, вдруг круто изменив ход, стали отстукивать минуты с хронометрической точностью.

Весь остаток дня отец и сын провели, не обмолвившись ни словом. Изредка то тот, то этот с беспокойством поглядывали на циферблат. За окном уже чернела ночь, когда Макс, преодолевая смущение, подошел к отцу и, притронувшись к его колену, сказал:

– Про Така.

И легенда о Тике и Таке, изгнанная было из штерерского дома, возвратилась в себя. Штерер-младший, производя свой первый опыт, заставил часовые стрелки поменяться осями: минутную на часовую – часовую на минутную. И он мог убедиться, что даже такая простая перестановка нарушает ход психических механизмов.

Вытянув руку, экспериментатор потрогал одну из стрел – ту, что покороче. Другая уводила свое длинное черное острие вверх. Необходимо было обследовать и ее. Привстав на цыпочки, он дотянулся. Над головой что-то хрустнуло, а в пальцах у него чернел отломившийся кончик стрелы. Как быть? Из шва курточки топорщилась черная нитка. Через минуту отломившийся кончик был аккуратно привязан к ближайшему острию. Правда, короткая стрелка от этого стала длинной, а длинная короткой, – но не все ли равно. В это время по коридору шаги. Мальчуган захлопнул дверцы часов, прыгнул и оттащил табурет на место.

Старые терпеливые цюрихские часы не рассердились на любознательного мальчугана, повредившего им их черный палец. Безустанно шагая из угла в угол на своей длинной ноге внутри своей тюремно-тесной стеклянной клетки, они снисходительно разрешали паре детских глаз посещать себя в своем настенном одиночестве. Размеренно отчеканивая секунды, механический учитель из Цюриха, как и большинство учителей, был напряжен, точен и методичен. Но гений и

не нуждается в том, чтобы его учили фантазии; страдая от своей чрезмерности, он ищет у людей лишь одного – меры. Таким образом – преподаватель и ученик вполне подходили друг к другу. Всякий раз, когда за стеной захрапит послеобеденным храпом отец, Штерер-младший, придвинув табурет к проблеме времени, начинал свои расспросы. Он тянул учителя за гири, ощупывал его круглое белое лицо, пробирался пытливыми пальчиками внутрь его жесткого и колючего мозга. И однажды случилось так, что механический учитель – очевидно, озадаченный каким-то трудным вопросом – вдруг свесил ногу и перестал отчеканивать урок. Макс, полагая, что часы обдумывают ответ, терпеливо дожидался, стоя на табурете. Молчание длинилось. Стрелы застыли на белом диске. Из-за зубцов – ни звука и ни призвука. Испуганный ребенок, спрыгнув наземь, бросился к спящему отцу; теребя его за свесившийся рукав, он, сквозь всхлипы, бормотал:

– Папа, часы умерли. Но я не виноват.

Отец, страхнув с себя просонье, зевнул и сказал:

– Что за вздор. Умереть – это не так просто, успокойся, мальчик: они испортились. Только и всего, и мы их починим. А плачут только девочки.

Тогда будущий мастер длительностей, вытерев кулачками глаза, спросил:

– А если испортится время – мы его тоже починим?

Отцу, следуя примеру старых часов, пришлось замолчать. Распрямившись, он с некоторым беспокойством оглядывал свое порождение.

## II

Случаи из детских лет Макса Штерера, – их нетрудно было умножить, – свидетельствуют только об одном: о рано установившейся психической доминанте, о внимании, как бы сросшемся со своим объектом, об однолюбии мысли, точнее, первых зачатков ее, в чем иные исследователи и полагают основу одаренности. Ребенок, затем отрок, как бы стремился взглянуть в протянувшийся впереди путь, не делая по нему ни единого шага. Склонность сына к контемплации, вслушивающаяся в себя речь, неохота к движению и играм – все это казалось отцу обыкновенной флегмой. Он полагал, что жизнь, как лекарство, надо взбалтывать: иначе не будет должного действия. На десятом году Макса взболтали, отправив в Москву, в первый приготовительный реального училища. Отец Штерер, оставшись один, недохват в беседе компенсировал двойным числом трубок, дымил и скучал. Однажды в длинный зимний вечер пришлось искать помощи даже у книжной полки. Среди десятка лежащих вповалку книг был разрозненный том далевских пословиц (Штерер, обрусевший немец-колонист, считал пристойным разговаривать с русским народом, изъясняясь его пословицами, Sprichwörter, старательно затверженными в алфавитном порядке). Листая том, Штерер вдруг увидел на одном из его полей почерк сына: рядом с поговоркой «Время на дудку не идет» трудными детскими каракулями было:

«А я заставлю его плясать по кругу».

Штерер-отец так и не понял, про какого «его», собственно, шла речь, но биограф Макса Штерера Иосиф Стынский называет эту запись «первой угрозой» и отмечает образ круга, которым и впоследствии, в отличие от символизирующей обычно время прямой, пользовался изобретатель при осуществлении своего плана. Первые два-три года учения отец и сын регулярно встречались и прощались в начале и в конце каникул. С каждым приездом сын делался длиннее и худее; рукава и брюки еле попевали за его ростом; даже волосы, прежде светлыми прядями опадавшие к плечам, теперь, сколько их ни стригли, топорщащимся ежом вытягивались кверху. Но подошедший вскоре 1905-й надолго разлучил Штереров. Сперва отец, опасавшийся аграрных беспорядков, просил сына повременить с приездом, затем и сын, ссылаясь на какую-то свою работу, отдалил встречу. Таинственная «работа» поглотила и следующие очередные каникулы. Отец прислал было телеграмму и деньги на выезд, но в ответ на телеграмму – телеграмма: «Время отнято временем. Не жди», а деньги немедленно превратились в книги и реактивы. Под кроватью пансионера Максимилиана Штерера, к ужасу хозяйки и любопытству товарищей, давно уже завелась импровизированная физико-химическая лаборатория. Владелец ее ревниво оберегал свой ящик с колбами, приборами по электростатике и прочей ученой утварью. Летом он уносил свои запаянные трубки, склянки с реактивами и спиртовую горелку в угол двора, за сарай; зимой работал лишь по праздникам и воскресеньям, стараясь использовать отсутствие товарищей по пансиону. Занятый своими мыслями, ученик четвертого класса Штерер не мог уделять много времени приготовлению уроков. Среди учителей и сверстников он слыл лентяем и среднеодаренным. Впрочем, бывали случаи, несколько спутывающие сложившееся мнение: так, однажды, вызванный вместе с двумя другими к доске, когда на ее

отчерченной мелом трети не хватило места для геометрических знаков, решавших чертеж, – Штерер, облизавшись, вдруг снял губкой длинную черту равенства и несколькими ударами мелом дал решение задачи методом аналитической геометрии; учитель физики, преподававший пятиклассникам капиллярность и бавтаские слезки вперемежку с мировыми законами Ньютона, несколько побаивался одного из своих учеников, обнаруживавшего неприятную осведомленность в области новейших открытий. Впрочем, Макс, не обращавший ни малейшего внимания на пятерки, которыми пытались от него отмахнуться, не прочь был при случае даже помочь учителю в расширении кругозора: однажды он вручил учителю математики немецкий мемуар об эллиптических функциях; учитель, вероятно, ничего бы не понял, даже если бы понимал по-немецки; через неделю он возвратил книгу, с поощряющим снисхождением похлопал ученика по плечу и, взмахнув фалдами, скрылся в учительскую. Пятикласснику Штереру, придумавшему в одну из бессонных ночей опровержение основных тезисов мемуара, так и не удалось найти себе собеседника.

Вообще он был очень одинок уже в годы ранней юности. В дортуаре пансиона стоял в ряд десяток кроватей; у кроватей столики; на столиках лампы под зелеными абажурами. Старшее население дортуара говорило голосами, срывающимися из баса в дискант, скребло перочинными ножами пух на подбородках и, урывая копейки, накапливало четвертаки для приобретения презервативов. Младшие аборигены, которых презрительно звали кишатами, по вечерам благоговейно подслушивали великовозрастных, которые, присев на корточки у открытой печки, курили дымом в дверцу и обсуждали, что есть баба и какая система кастета может считаться наилучшей.

Только двое не принимали участия ни в обсуждении, ни в подслушивании: Макс Штерер, отгораживавшийся книгами и мыслями, и Ихиль Тапчан, короче Ихя, тонконогий и безгрудый отрок с лицом человека, которому не жить. Ихя сидел обычно сгорбившись на своей кровати, зрачками в себя, с желтыми костяшками рук вокруг колена; синие веки его дергались, как мерцательная перепонка птицы, а сквозь тонкое оттопыренное ухо, если сощуриться, можно было различить зеленый контур лампы.

Гимназисты иной раз пробовали подразнить Тапчана:

– Ихя, а скоро тебя повезут на халабуде на кладбище?

– Напиши маме в Гомель, Ихя, чтобы прислала тебе талес.

Но Ихя молчал, и только птички перепонки его дергались, а к острым скулам скатывались красные кляксы румянца. Макс Штерер, чаще других останавливавший свое внимание на Ихе, не глумился, но и не сострадал, он просто наблюдал и думал о процессе распада, обгоняющем процесс восстановления; это была задача на разность скоростей, аналогичная арифметической задаче о курьерском поезде, нагоняющем товарный. Надо было, соответственно усложнив условие, решить и, проверив ответ, перевернуть страницу задачника дальше. Уму исследователя времени хильый еврейский мальчик из Гомеля представлялся, вероятно, сосудом, дающим высокую утку времени, быстро падающего к дну, механизмом с нарушенным статусом регулятора, чрезмерно быстро освобождающим завод спирали. В прерывистом, расклиненном паузами звонком кашле Ихя Штерер научился различать смену своеобразных интонаций: казалось, больной беседует с кем-то короткими придыхательными, из одних шипящих и гортанных,

словами и, выждав ему лишь слышимую реплику, отвечает приступом новых – из присвистов и хрипов – протестующих слов. И, вслушиваясь в эту беседу, наблюдатель иногда – так ему казалось – угадывал второго собеседника: ведь именем его наполнились все его мысли.

По воскресеньям с утра пансионеры разбредались, дортуар пустел, оставалось только двое: Ихя сидел сгорбившись на своей постели, а из-под постели Штерера, позвякивая стеклом и металлом, выползал ящик-лаборатория. Один, шуря птичьей пленки, наблюдал в себе ширящуюся смерть. Другой, над путаницей проводов, системой контактов и переключений, стеклянными горлами реторт и прыгающей с атома на атом цифрой, грезил о капкане, в который будет изловлено время. Они никогда друг с другом не переговаривались. И только раз, почувствовав, что можно, Ихя робко спросил:

– Вы никогда не гуляете?

– Мне нет никакого дела до пространства, – отрезал Штерер и снова наклонился над своим ящиком.

– Я так и догадался, – качнул головой Ихя и ждал.

– Люди передвигаются в пространстве. От любых точек к любым. Надо, чтобы и сквозь время: от любой точки к любой. И это будет, я тебе скажу, прогулка!

Ихя восторженно улыбнулся: да-да, это будет прогулка, каких не бывало!

И закашлял в платок. Макс, складывая толчки кашля в безбуквые, но внятные ему слова, слышал: «Иди и дойди ты, а мне – мне конец, и все».

Он было сделал шаг к встопорщившимся острым лопаткам Тапчана и вытянул руку. Но в это время в передней зазвучали голоса. Ящик-лаборатория быстро пополз под кровать.

Прошла неделя-другая. Как-то в сумерки, подойдя к своей кровати, Штерер увидел поверх подушки прямоугольник книги. Он зажег свет – на желтой обложке стояло: «Машина времени». По хитрой улыбке Ихи легко было догадаться, чей это тайный подарок. Штерер не чувствовал благодарности – руки его, быстро закопавшиеся в страницах, скорее выражали гнев. Кто-то, какой-то сочинитель романов посмел вторгнуться в его, исконно штереровскую, мысль, которую из мозга можно взять лишь вместе с мозгом.

Весь вечер глаза и книга не разлучались. Ихиль Тапчан, следя из своего угла движение страниц, видел сначала хмурающийся над ними лоб, потом – спокойно раздвинувшиеся брови, потом – чуть брезгливую улыбку вкруг неподвижно сомкнутого рта.

Через день было воскресенье. Ихиль, которого температурило с утра, прилег лицом от света. Вдруг прикосновение к плечу. Вскинув глаза, он увидел наклонившееся лицо Штерера:

– Тебе надо теплее укрыться. Дай я. Вот так. И возьми свою книгу: мне она не нужна.

– Не понравилось? – растерянно пробормотал Ихя.

Гость присел на край кровати:

– Видишь ли, тут дело не в том, чтобы нравиться людям. А в том, чтоб напасть на время, ударить и опрокинуть его. Стрельба в тире – это еще не война. И после, в моей проблеме, как и в музыке: ошибка на пять тонов дает меньший диссонанс, чем ошибка на полутон. Ну, взять хотя бы внешний вид конструкции: какие-то провода, даже нелепое велосипедное седло. Ничего подобного: даже наружный

профиль машины, идущей сквозь время, будет совершенно иной. О, как это ясно я вижу.

Говоривший стиснул виски и оборвал. Ихиль подался навстречу недосказанному:

– А какой?

– Темпоральный переключатель, как я его сейчас вижу, будет иметь форму стеклянной шапки с острым верхом, плотно охватывающей лобную и затылочную кость. Истонченные до предела оптические флинтглассы темпоратора скрестят свои фокусы так, чтобы аппарат уже до своего пуска в ход был выключен из видения. Оптически это вполне возможно. В дальнейшем, с первого же такта машины, невидимость должна постепенно распространиться с включающего на включенное, то есть на охваченный прозрачными тисками мозг, череп, шею, плечи, ну и так далее. Так никелевая шапочка пули выключается своим лётom из видения, хотя и находится в пространстве. Впрочем, не в этом суть: время, прячущееся под черепом, надо прикрыть шапкой, как мотылька сачком. Но оно миллиардо-мириадокрыло и много пугливее – иначе как в шапку-невидимку его не изловить. И я не понимаю, как смысл шапки-невидимки, придуманной сказочниками, остался... невидимым для ученых. Я беру свое отовсюду. Ты видишь, и сказки могут на что-нибудь пригодиться.

– Но как же...

– Как она будет работать, спрашиваешь ты? Очень просто. Впрочем, нет: очень сложно. Ну, вот хотя бы это – я о самом понятном: любой учебник физиологической психологии признает принцип так называемой специфичности энергии. Так, если бы можно было, отделив внутреннее окончание слухового нерва, вырастить его в зрительный центр мозга, то мы *видели бы звуки* и при обратного рода операции *слышали бы контуры и цвета*. Теперь слушай внимательно: все наши восприятия, втекающие по множеству нервных приводов в мозг, либо пространственного, либо временного характера. Разумеется, длительности и протяженности спутаны так, что никакому ножу хирурга их не разделить. Впрочем, и мысль моя, по-видимому, не изостреннее стального острия, ей тоже трудно расцепить миги и блики, но уже и сейчас я на верном пути, уже и сейчас я, пусть смутно, но угадываю разность в интенции этих двух типов восприятий. И когда я научусь отделять в мозгу секунды от кубических миллиметров, как молекулы масла от воды, мне остается только доработать идею моего нейромагнита. Видишь ли, и обыкновенный магнит отклоняет электроны с их пути; мой нейромагнит, охватывающий в виде шапки мозг, будет проделывать то же, но не с потоком электронов, а с потоком длительностей, временных точек, устремляющихся к своему центру: перехватив поток на полпути, мощный нейромагнит будет перенаправлять лёт временных восприятий мимо привычных путей в пространственные центры. Так, геометр, желая превратить линию в плоскость, принужден отклонять ее от нее самой под прямым углом к ее обычному длению. И в миг, когда он, так сказать, впрыгнув в блик, отрехмерится, настоящее, прошлое и будущее можно будет заставить как угодно меняться местами, как костяшки домино, игра в которое требует минимум двух мер. Третья мера – для беспроигрышности. Ведь для челна, потерявшего весла, один только путь – по течению вниз, из прошлого в будущее, и только. Пока не разобьет о камни или не захлестнет волной. То, что я даю им, людям, это простое весло, лопасть, перегораживающая бег секунд.

Только и всего. Действуя им – и ты, и всякий, – вы можете грести и против дней, и в обгон им, и, наконец, поперец времени... к берегу. Но у тебя горит лицо, Ихя. Тебе нехорошо?

Влажные горячие пальцы охватили Штереру ладонь:

– Хорошо. Так хорошо, что никогда уже не будет так.

Штерер улыбнулся:

– Неправда: когда я построю свою машину – пусть это будет через десять, двадцать лет, все равно – я вернусь, обещаю тебе, в этот вот день, в наше сейчас: мы будем снова сидеть вот так, пальцы у тебя, которого уже не будет, будут влажные и горячие, и ты скажешь: «Хорошо. Так хорошо, что...» Но я трону рычаг и...

– И к берегу?

– Нет, Ихя, мимо и дальше. Сквозь лёт лет.

Дальнейшие высказывания Штерера не состоялись. Здоровье Ихия с каждым днем ухудшалось. По вызову заведующей пансионом за Тапчаном приехали из его родного городка. В одно из утр, как бы в подтверждение насмешливых предсказаний о талесе, Ихя, укутанный в полосатое одеяло, сидел в коляске, запрокинув голову на кожаную подушку. Макс Штерер, встав на подножку, осторожно сжал хрупкие пальцы Ихя. Лиловые птичьи перепонки благодарно трепыхнулись. Штерер освободил подножку.

Они обменялись двумя письмами. Третье письмо, посланное из Москвы, вернулось нераспечатанным и с пометой: за смертью адресата.

Стынский, пользовавшийся, в числе других материалов, сохранившимся дневником Тапчана и копией с первого московского письма, которое тот за день до кончины любовно переписал в свою тетрадь, утверждает, что в дальнейшем попыток к дружбе за Штерером не числится.